

Юрий Лидский

РАССКАЗЫ

Смоленск
«Принт-Экспресс»
2010

УДК 821. 161.1 – 32

ББК 84 (2)

Л-557

Лидский Ю.

Л-557 **Рассказы.** / Ю. Лидский. – Смоленск:
Принт-Экспресс, 2011. – 88 с.

ISBN 978-5-91812-015-6

УДК 821. 161.1 – 32

ББК 84 (2)

ISBN 978-5-91812-015-6



9 785918 120156

© Лидский Ю., 2010.

*Памяти моих родителей
посвящаю*

РАЗ-ДВА

– Раз-два! Раз-два! Коровкин, ноги! Строе-вым!

Молодецкая команда разносилась по безлюдной в раннее время улице. Восемнадцать пар ног топали строевым. Две ноги шли сбоку – помкомвзвода Иван Фёдорович Кравчук. Он давно мечтал покомандовать строем, но не получалось: на вечернюю прогулку и в еженедельную баню роту водил старшина. Теперь помкомвзвода дождался своего часа. Учебное отделение шло на практическое занятие в областную больницу. Иван Фёдорович вёл нас самой длинной дорогой и браво командовал.

У входа в больницу нас встретил преподаватель. Он сказал, что первое занятие – ознакомительное, а начнём мы, как полагается, с душевой, где поступающие больные проходят санобработку. Мы вошли в вестибюль, надели халаты и направились в душевую.

В большой обшарпанной комнате под душем стояла пожилая голая женщина.

– Не волнуйтесь, больная, – сказал преподаватель, – это медики.

Мокрые пряди седых волос облепили голову женщины. Слезы текли по её щекам и, смешиваясь с жидкими струйками воды, падали на обвисшие груди, которые больная тщетно пыталась прикрыть руками. Она поворачивалась к нам спиной, но нас было слишком много. Кирзовые сапоги нагло торчали из-под белых халатов. В таких сапогах ходил сейчас на передовой внук этой женщины. А может быть, уже не ходил. Мы старались не смотреть на неё, но все равно всё видели. Она уже не мылась, просто стояла под душем и плакала.

В коридоре было трудно дышать. Когда до войны проверяли санитарное состояние больниц, прежде всего из-под первой попавшейся койки доставали подкладное судно. Если от него пахло, дальше можно было не проверять. В 1944 году о санитарном состоянии не говорили. Больницы были переполнены, в палаты на четверых втискивали шесть коек. Нянечек не хватало. По обеим сторонам коридора впитык одна к другой

стояли железные кровати. Только вход в палаты оставался свободным. На всех койках лежали больные. Большинство – дистрофики. В это время в Свердловске уже было много людей, которых называли местными ленинградцами. Почти у всех больных был обычный для дистрофиков понос.

В конце коридора у одной кровати сидела на стуле старушка в платочке и, не шевелясь, смотрела на больную. Когда мы подошли, старушка внезапно подняла голову, посмотрела на нашего преподавателя, и в глазах её мелькнула безумная надежда, но тут же исчезла. Старушка снова сгорбилась и больше не отводила глаз от больной.

Мы столпились возле кровати. Больная девушка была без сознания. Зрачки её закатились под лоб, белки открытых глаз слепо смотрели вверх. Из полуоткрытого рта вырывалось хриплое, неровное дыхание. На прокушенной нижней губе запеклась капля крови.

– Несчастный случай, – сказал преподаватель вполголоса, – девушке выписали красный стрептоцид, а она по

ошибке проглотила таблетку сулемы. Белковое перерождение почек.

Мы видели такую почку на занятии по анатомии. Тончайшая, изящная структура превратилась в какие-то бесформенные сероватые комки. Почки перестали работать, наступило отравление организма мочевиной.

Когда мы обошли коридор, преподаватель повёл нас к палате сердечников и велел обратить внимание на характерные симптомы. Пришлось разбиться на три группы. В палате не было места.

Мы вошли, поздоровались и сразу увидели самую тяжёлую больную. Только у неё была кислородная подушка, от которой она не отрывалась. Девушка старалась не шевелиться и лишь глазами, не поворачивая головы, с любопытством следила за нами. Я сразу обратил внимание на синюшность над её верхней губой. Цианоз, сердце не справляется. Это мы уже знали. Сорокадвухлетний Коровкин, самый старый курсант в роте, протянул руку, погладил девушку по голове и сказал, показывая на меня:

– Видишь, как он на тебя смотрит? Вот поправишься – танцевать на вашей свадьбе будем.

Девушка перевела глаза на меня, увидела, что я покраснел, слабо улыбнулась и хотела что-то сказать, но схватилась за наконечник подушки и торопливо задышала. Я так и не осмелился погладить её руку.

В коридоре преподаватель рассказал, что девушка приехала из села, работала на военном заводе, а жила в общежитии, на четвёртом этаже. Лифта в доме не было. Когда у неё заболело горло, она измерила температуру. Тридцать семь и четыре. Кто тогда лежал с такой температурой? Девушка продолжала ходить на работу, а вечером поднималась на свой четвёртый этаж. Ангина дала осложнение на сердце.

– Декомпенсация, – сказал преподаватель. – В пятницу, на следующем занятии мы её уже не увидим.

Когда мы вышли из больницы, было два часа. Возле корпуса стояли зелёные деревья, на них чирикали воробьи. По улице шли здоровые люди. За углом прозвенел

трамвай. Гадкий больничный запах медленно уходил из носа.

– Смотри ты, – вдруг удивлённо сказал помкомвзвода, – помирает. Небось и не пробовала ещё.

Впрочем, он скоро пришёл в себя. Он снова вёл нас самой длинной дорогой, и улица оглашалась его зычной командой:

– Раз-два! Раз-два! Но-гу! Строевым!

ПРИВИВКА

*Все события, персонажи и места
действия рассказа вымышленные*

Дом был большой. Построенный покоем, он выходил на три улицы: длинный фасад с парадным центральным подъездом – на улицу 25 Октября, которую по старой памяти все называли Институтской, правое боковое крыло дома смотрело на улицу Карла Либкнехта, бывшую Левашовскую, а левое – на Садовую. Дом только что заселили, жили в нём военные – старший начсостав.

В Харькове Лёва жил с мамой и папой в одной комнате общей квартиры. Когда осенью 1934 года бриг-врача Левицкого назначили начальником главной физиологической лаборатории КВО – Киевского военного округа, его с женой, восьмилетним Лёвой и трехмесячной Ирочкой временно поселили в общей квартире на Ново-Госпитальной улице. Лаборатория занимала двухэтажный дом на территории госпиталя, и Лёва скоро освоил все его аллеи. В школу он пошёл сразу во второй класс.

Четвёртая квартира в первом подъезде только что отстроенного дома находилась на втором этаже. В жизни Лёвы это была первая отдельная квартира, и он полюбил её сразу. Просторная прихожая и менее широкий коридор делили жильё на две части. Налево от прихожей была самая большая и солнечная комната. Архитектор задумал её как столовую и гостиную. Следующая дверь налево вела из коридора в маленький коридорчик, откуда был вход в кухню, ванную и уборную. Дверь направо от прихожей вела в большую комнату с окном и балконом, выходившими на Садовую. Широкий проём без двери отделял эту комнату от девятиметровой ниши. Она имела собственные окно и дверь, выходившую в коридор.

Мама Лёвы не согласилась с архитектором и превратила солнечную комнату в детскую. Кровать Лёвы стояла у одной боковой стены, а кроватка его подростшей сестры – у противоположной. Между большими окнами поставили письменный стол, за которым Лёва делал уроки. Стоял ещё возле двери платяной шкаф. Мама бы-

ла педиатром и считала, что детская должна быть полной света и воздуха. Родители разместились в комнате напротив. Они спали на широкой тахте, середину комнаты занимал обеденный стол, а длинный простенок налево от двери был заставлен книжными полками. В нише стояли мамин трельяж и папин письменный стол.

Лёва быстро подружился с детьми соседей, перестукивался по трубе отопления с Юзиком Лисицыным, жившим на первом этаже, и часто бегал на пятый этаж к Грише Золотенко, который замечательно играл в футбол.

Началась очень интересная жизнь. В двух кварталах находился ДКА – Дом Красной армии. Туда Лёва почти каждое воскресенье ходил на утренний киносеанс, а иногда удавалось и на взрослом бильярде поиграть. Очень понравилась школа на красивой площади, рядом с театром. Аптека, в которой мальчик покупал мятные таблетки, когда родители давали ему сорок семь копеек, находилась на углу дома. Лёва много читал и хорошо учился, его досроч-

но приняли в пионеры, а в доме открылся пионерский форпост. В двух шагах был старый сад, из которого можно было пройти на стадион "Динамо".

Всё было хорошо, но вдруг выяснилось, что повсюду есть множество врагов народа, немецких и японских шпионов, каких-то диверсантов, которые хотят убить руководителей партии и правительства.

Сначала это было похоже на игру. Лёва никогда не видел ни одного шпиона и не знал, как их много. Потом пионервожатая провела беседу о Павлике Морозове, мальчишке-герое, который разоблачил собственного отца, и объяснила пионерам, что они должны быть бдительными, позор им будет, если их родители окажутся шпионами, а они их вовремя не разоблачат.

Лёва не мог так плохо думать о маме и папе, но скоро начались тревожные события. Однажды ночью Лёва проснулся и тихо, стараясь не разбудить родителей, вышел в коридор, чтобы пойти в уборную, но родители не спали. Лёва услышал, как папа сказал вполголоса: "Что-то непонятное происходит,

Наташенька. Колесова арестовали. Я головой за него ручаюсь. Что же это?.."

Маму звали Дина, но папа, без конца перечитывавший Льва Толстого, часто называл её Наташей. Лёва не знал, кто эта Наташа, но начальника госпиталя Колесова, носившего два ромба, он знал. Тот однажды подарил ему настоящий футбольный мяч, был весёлым и добрым человеком, а оказался шпионом. Лёва вспомнил, как вожатая говорила, что шпионы маскируются. Как же папа может ручаться? Мальчик долго не мог заснуть.

Когда он утром вышел в прихожую, под табуреткой стоял маленький чемоданчик. Мама объяснила, что папа может срочно уехать в командировку, и она заранее приготовила смену белья, мыло, полотенце и бритвенный прибор – на всякий случай. Папа и раньше ездил в командировки, но заранее мама никогда ничего не готовила, и вид у неё был озабоченный. В этот день в "Пионерской правде" были напечатаны стихи о суде над врагами народа. Лёва прочитал: "Суд вам один – как со-

бак, расстрелять!" Он не понял, почему собака нужно расстреливать, но стихотворение ему всё равно понравилось.

Через несколько дней он увидел в газете жирный заголовок "Дядя Коля – мухолов". Лёве стало интересно, и он прочитал страшную историю, занимавшую весь низ газетной страницы. В городке, где было много военных учреждений, поселился энтомолог, которого все называли дядя Коля. Он всюду ходил в поисках насекомых и подружился со многими ребятами. Особенно дружен он был с сыном большого военного начальника. Он выпросил у мальчика, когда тот бывает дома один, и как-то пришёл к нему с длинным жуком-плавунцом. Дядя Коля попросил набрать в ванну побольше воды, чтобы они посмотрели, как этот жук плавает, а когда ванна наполнилась, схватил мальчика сзади за голову и утопил его. Потом дядя Коля сказал по-немецки: "So istes besser!" – «Так-то лучше». Вытерев руки, он прошёл в кабинет и забрал секретные бумаги из письменного стола.

Лёва начал бояться. Днём он почти забывал о своём страхе. Он очень любил родителей, а они его. Они не могли быть шпионами. Но папа хотел, чтобы Лёва учил немецкий язык, и мальчик начал ходить в группу Агнессы Карловны, когда ему и четырём не было. Он знал немецкий лучше всех в классе и гордился этим, но почему папа так хотел, чтобы сын учил немецкий?

В доме начались аресты. Ночью папа больше не ложился. Приезжая с работы, он снимал сапоги и ремень и расстёгивал ворот гимнастёрки, но не переодевался. Когда мама засыпала, он уходил в нишу и до утра сидел над книгами и бумагами. Спал он два часа после обеда, а потом снова уезжал на работу – до вечера.

Мальчик возненавидел ночи. Он лежал с открытыми глазами, прислушивался и боялся. Он не решался говорить об этом с друзьями. Засыпал только на рассвете. Утром мама будила его поцелуем в голову. Он просыпался, обнимая маму, и чувствовал себя счастливым. Ночью всё было иначе.

Однажды вечером он открыл окно и придвинул к нему кровать. Маме он сказал, что так ему легче дышать и лучше спится. Мама промолчала. Он каждый вечер готовился выпрыгнуть в окно, если кто-нибудь войдёт ночью в детскую, чтобы задушить его. "Кто-нибудь" могло означать только маму и папу, но мальчик не хотел сознаться себе, кого он подозревает. Он похудел и замкнулся. Родители волновались, но ничего не говорили, только были очень ласковы. Днём это помогало.

Однажды ночью, когда уже не ходил трамвай, проезжавший по Садовой на улицу Кирова, убитого диверсантами, Лёва услышал, как во двор въехала легковая машина и остановилась у подъезда. Хлопнула дверь, и по лестнице начали подниматься двое. Лёва ясно слышал их шаги. Он не знал, что мама и папа тоже не спят и слушают.

Двое прошли по лестничной площадке и стали подниматься выше. Через полчаса вниз пошли уже трое. Снова хлопнула дверь подъезда, потом дверца машины, заработал

мотор, и машина уехала. Под утро Лёва заснул, и мама не стала его будить.

Он проспал до двенадцати, не слышал, как во двор въехал грузовик, как грузили вещи арестованного Золотенко и куда-то увезли Гришу с мамой. Когда он выглянул в окно, на земле возле подъезда лежала оторванная фанерная дверца платяного шкафа. Лёва узнал её. У них был точно такой же казённый шкаф с жестяным номером. С внутренней стороны дверцы Гриша отмечал свой рост: ему казалось, что он растёт слишком медленно. Лёва увидел эти метки и всё понял. Гриша не разоблачил своего папу.

Дом пустел. Ещё месяц Лева держался. Он больше не выходил во двор. Однажды утром он попросил у мамы сорок семь копеек на мятные таблетки. Этого давно не случилось, и мама очень обрадовалась. Спрятав деньги, Лёва вышел, привычно тщательно обошёл то место, где когда-то целый день пролежала оторванная дверца шкафа, купил таблетки и пошёл направо по Левашовской. Коробочку с таблетками он положил в карман и тут же забыл о ней. Он медленно и как-

то нерешительно шёл к Липскому переулку. По нему можно было выйти на улицу Розы Люксембург, а сразу за углом стояло большое здание НКВД.

Лёва шёл, автоматически переставляя ноги и ни о чём не думая. В конце переулка его обогнали двое в форме. Проходя мимо мальчика и не обращая на него никакого внимания, один военный зло говорил другому: "Ты подумай, б... какая. Я его, ... его мать, так разделал, а он, сука..."

Дальше Лёва не слышал. Свернув за угол, он увидел, как военные вошли в то самое здание. Лёва остановился. Простояв минуты две на углу, он вспомнил о таблетках, вынул из кармана коробочку, а из коробочки мятный кружочек, положил его в рот, повернулся и пошёл обратно по Липскому переулку на Левашовскую.

ОБЫСК

— Ваше дело — хорошо учиться, а фронт без вас обойдётся, — равнодушно проскрипела Сушёная Вобла, она же наша математичка Нина Николаевна и классный руководитель восьмого "б".

— А мы не хотим, чтобы без нас, — крикнул с места Женька Алексеев, эвакуированный в Свердловск из Москвы, как, впрочем, добрая треть переполненного класса.

— Иди к доске, Алексеев, — продолжала скрипеть Вобла, — посмотрим, как ты урок приготовил. За две четверти ни одной "пятерки" по алгебре, а туда же — фронту помогать.

Сушёная Вобла не боялась Алексева. Она знала свою математику достаточно, чтобы не дрожать перед эвакуированными москвичами и ленинградцами. Побавлялась она только нашего математического гения Вадима Бухмана. Он умел почти мгновенно решить в уме любую задачу по программе десятого класса: читал условие задачи, минуту думал и давал всегда правильный ответ.

— Как ты это делаешь? — спрашивали изумлённые новички.

— Я посчитал, — флегматично отвечал Бухман.

Он никогда не смеялся над учителями, и Вобла боялась его только на уроках геометрии: Вадим часто предлагал собственное доказательство теоремы по своему же чертежу, а Вобла никогда не могла сразу сказать, правильно ли оно. Скоро она научилась спрашивать его только с места.

Женька Алексеев вышел к доске, и урок продолжался без отступлений от плана.

— Да, ребята, нужно идти к Зинаидушке, — сказал на перемене Серёжка Сошников.

Директор школы Зинаида Калиновна Маковкина была человеком замечательным и за первую же четверть 1941-42-го учебного года крепко взяла разбухшую школу в руки. Хотя предшествующий поход к директору закончился скорым и полным поражением учеников, предложение Серёжки никого не удивило. В тот раз к Зинаиде Калиновне пошли из-за физички

Милицы Васильевны. Она не знала своего предмета, вечно путалась, ничего не умела объяснить и дрожала перед увлекавшимся физикой Серёжкой. Когда класс хотел сорвать урок, его просили задать ей вопрос.

– Здравствуйте, ребята, садитесь, – говорила физичка, войдя в класс.

– Милица Васильевна, у меня есть вопрос, – поднимал руку Серёжка.

– Потом, Сошников, потом, – испуганно говорила физичка,

– А я хочу спросить, – неумолимо настаивал Серёжка.

– Сошников, Сошников, выйдите из класса, – говорила физичка, смешно хлопая себя ладонями по животу.

Серёжка торжественно удалялся в коридор, но утихомирить класс было уже невозможно. В конце концов делегация учеников пошла к Зинаиде Калиновне.

– Вы думаете, я без вас не знаю, что Милица Васильевна никакая не учительница и в физике ничего не смыслит? – неожиданно ответила делегатам Зинаида Калиновна. – Вы знаете, где сейчас её муж?

Он – командир пехотного взвода на передовой, а она одна с двумя детьми, которых нужно растить. Вы знаете, – продолжала Зинаида Калиновна, – какова средняя продолжительность жизни командира пехотного взвода на фронте? Три месяца, как у лётчиков-истребителей. Никуда я её не уберу. Вы хотите знать физику? Так возьмите учебник и разбирайтесь в этой премудрости сами. И перестаньте издеваться над бедной женщиной. Поняли?

– Поняли, – как-то даже радостно ответил за всех Серёжка, и посрамлённая делегация удалилась. Милицу Васильевну оставили в покое, а физикой занимались самостоятельно, даже тупую Николаеву на твёрдую "тройку" вытянули.

– Ну, кем вы теперь недовольны? – спросила директор, улыбаясь ребятам.

– Мы хотим чем-нибудь помогать фронту, – сказал Серёжка, – и обещаем, что это не помешает нам учиться.

– Правильно, ребята. Я подумаю, что можно сделать. Дайте мне несколько дней.

В следующее воскресенье добровольцы из восьмых классов — человек тридцать — в девять утра уже были у входа в склад на окраине города.

В огромный сарай-склад, где предстояло весь выходной паковать посылки на фронт, входили через довольно большую проходную. В ней топилась раскалённая "буржуйка", было тепло. Школьников ждал бледный, измождённый человек с изуродованной рукой. На нём была гимнастёрка без знаков отличий. Старая шинель висела на вбитом в стену гвозде.

— Не раздевайтесь, ребята, — сказал инвалид, поздоровавшись.

— Там холодно: крыша железная, а потолка нет. И смотрите, не поморозьте руки. В рукавицах много не наработаете. Чем больше напакуете посылок, тем лучше. Не успеваем мы, работать некому. Посылки будете делать трёх типов, там на стене инструкция висит, в ней указано, что в какую посылку класть. Вы грамотные, разберётесь. И ещё: там конфет разных много. Так вот, там есть можете, а выносить ниче-

го нельзя. Общем, когда уходить будете. Ясно?

Нас ещё никогда не обыскивали. Мы притихли и неловко прошли в склад.

Посреди холодного сарая на столах стояли весы и лежали гири, а вокруг с земляного пола поднимались горы смёрзшихся леденцов и карамелей, которые нужно было отбивать металлическими совками, и холмы шоколадных конфет с медведями на обёртке, а чуть в стороне – кучи махорки навалом. На отдельных столах и полках лежали длинные коробки папирос "Северная Пальмира" – по двести штук в каждой, а на других полках – груды вязаных варежек, шарфов, фланелевых нижних рубаш, носовых платков и тёплых кальсон. Всё это были дары отдельных людей и целых организаций. Среди вещей было много записок, адресованных фронтовикам. Писали по-разному, но чаще всего желали "Дорогому бойцу" покрепче бить фашистов и поскорее с победой вернуться домой.

Из висевшей на стене инструкции мы узнали, что в каждую посылку нужно

класть либо двести граммов махорки, либо десять папирос. Так же было и с конфетами: либо несколько шоколадных, либо больше – по весу – карамелей или леденцов, а с тёплыми вещами – как мы сами решим, но чтобы одни посылки не получались слишком богатыми, а другие чересчур бедными. Мы тут же решили и сами писать записки, чтобы в каждую посылку вкладывать, и начали работать.

– Ты почему конфеты не ешь? – спросил меня Валя Петровский, бросая обёртку в мусорную корзину. – Разрешили ведь.

– Не хочу, Валя. Не для нас это, а для фронтовиков собрали. А кроме того, понимаешь, мне малышей жаль. Им война детство испортила. У меня хороший велосипед был, книг разных целая библиотека, и конфет, и мороженого хватало. А у моей маленькой сестры что? В доме холодно, игрушек у Ирки никаких, а что такое шоколадная конфета, она уже и не помнит. Как же мне есть? А вчера в коридоре видел я, как первоклассник букварь открыл на

букве "я", там рядом с буквой яблоко нарисовано, он посмотрел и спрашивает, что это такое. Яблока никогда не видел или забыл уже. Не буду я конфеты есть.

— А я буду, — сказал Валя. — Наемся здесь конфет, а хлеб свой сегодня Петьке отдам, брату. Он ещё маленький, не понимает и всё время есть просит, а мама плачет.

— Ну, ты ешь, — вмешалась Катя Добрынина, в которую я, Сашка Лурье и ещё человек пять успели влюбиться, — а я тоже не буду. Пусть каждый сам решает.

Паковать посылки оказалось трудно. Аккуратно укладывать десять папирос в посылку, отбивать от смёрзшейся кучи карамелей нужные граммы и точно взвешивать наловчились не сразу; то, что сперва казалось пустяковым поручением, требовало старания и сил. Все хотели напаковать побольше, спешили и радовались, когда начало получаться быстрее, хотя руки приходилось отогревать дыханием или в карманах. Когда человек в гимнастёрке вошёл и сказал, что пора кончать, удивились: окон в сарае не было, работали при

электрическом свете и не знали, что на дворе уже темнеет.

Когда вышли в натопленную проходную, сразу почувствовали, что устали, и вспомнили про забытый в азарте работы обыск. Человек в гимнастёрке попросил всех стать направо от его стола и подходить по одному, а после обыска переходить налево, поближе к выходу. Стали, переминаясь с ноги на ногу. Обыск оказался простым: человек в гимнастёрке проводил здоровой рукой по карманам, иногда просил снять шапку или расстегнуть пальто. Он был внимателен, но не груб. Все молчали, только Коля Борозна из восьмого "Г", стоявший в хвосте, всё время бурчал, что обыск это позор, что надо доверять, что время зря теряем, но человек в гимнастёрке даже не смотрел в его сторону.

Я знал, что в карманах у меня ничего нет, но когда перешёл налево от стола, почему-то почувствовал облегчение. Обыск шёл быстро. Когда подошла очередь Борозны, человек в гимнастёрке не стал проверять его карманы, а внимательно посмотрел на него, потом вдруг присел на корточки и схватился

за штанину его лыжных брюк. Ощупав одну штанину, он взялся за другую. Потом встал во весь рост и сказал: – Расстегни манжеты!

В каждой штанине оказалась длинная коробка "Северной Пальмиры".

– Из-за таких мы и оскорбляем вас обыском, ребята, – сказал человек в гимнастёрке. – Вам всем стыдно было, что вас обыскивают, но вы молчали, а он... Всё, ребята, вы свободны, спасибо вам. А с тобой, – повернулся он к Борозне, – отдельный разговор будет.

Мы вышли на мороз.

– Ну, – сказал Андрюша Нащокин, – пусть только появится в школе.

Ко мне подошёл Вадим Бухман, на глазах у всех сунул руку в карман пальто и вынул две шоколадных конфеты.

– Ирке отдашь, – сказал он. – Пошли, ребята.

ДЯДЯ ДАНЯ

Моей сестре Ирине

Перебравшись из Бахмута в Харьков, Даня не сразу поселился на тихой и маленькой Вознесенской улице, застроенной одно-двухэтажными домами. Эти небольшие домики и особнячки имели сквозные дворы, отделявшиеся от соседних неровными рядами дровяных сараев. Улица была замощена, но летом зарастала травой, а во дворах возле высаженных жильцами петунии, табака и календулы стояли дощатые скамейки. Все знали друг друга, и на скамейках редко бывало пусто. Подобно недалёкой, но более городской Дворянской, улица, конечно, называлась по-новому, но старые, привычные названия держались упорно.

Даня жил на весьма просторном чердаке серого двухэтажного дома номер шесть и скоро привык не ударяться головой о понижающийся от середины чердака потолок. Даня хотел жить рядом с сёстрами и не пытался найти более комфортабельное жильё.

Так разделилась семья Константина (Екусеила) Ицковича, приказчика в большой лавке богатого еврея Шефтера, а когда и как Ицковичи появились в Бахмуте, никто уже не помнил. Константин был трудолюбив, аккуратен и честен, строго соблюдал еврейские традиции, бережно хранил старый талес и был всегда готов работать сверхурочно, ничего за это не требуя. Шефтер доверял своему приказчику, ценил его и платил прилично. Бахмут, старинный уездный город на реке того же названия, которую жители обычно именовали Бахмуткой, был известен залежами каменной соли и солеварнями и располагался на железной дороге. Торговля в нём шла бойко, а жизнь спокойно. Для черты оседлости это было неплохое место. Жена Ицковича Фаня, умная, привлекательная, интеллигентная от природы, была моральной опорой семьи, которая не замедлила увеличиться. Дина родилась в 1898 году. Константин выбрал для дочери хорошее библейское имя. Когда, год спустя родился мальчик, Фаня сказала мужу:

– Ты захотел назвать девочку Динной, так давай назовем мальчика Даней, будут у нас Дина и Даня.

В 1901 году родилась вторая дочь – Белла, а в 1902 – Мария, третья и последняя.

Однажды Фаня простудилась, потом никак не могла избавиться от затяжного бронхита, а потом с опозданием выяснилось, что у неё открытый туберкулёз легких. Ицковичи переселились в большую пятикомнатную квартиру. Фаня отделила свою посуду и вещи от общих, почти не заходила в комнаты детей, кашляла в платок и несколько раз в день подолгу проветривала жильё. Умерла Фаня в 1916 году. Её горько оплакивали и не забывали.

Когда в Бахмуте начались еврейские погромы, семья Герасименко, друзей, живших напротив в собственном деревянном доме, всегда прятала младших Ицковичей у себя и выставляла в окнах иконы. Однажды Дина с Даней, нарушив запрет, подошли к фасадному окну. Константин медленно поднимался на крыльцо, и они увидели, как откуда-то прискакавший казак сильно ударил

отца нагайкой по голове и тут же умчался. Константин покачулся и упал. Дина вскрикнула и заплакала, но Даня зажал ей рот рукой и сказал:

– Не нужно рассказывать Марье и Белле, хорошо? И не плачь, посмотри, папа уже встаёт.

Когда черту оседлости отменили, Дина уехала в Харьков – поступать в медицинский институт. Даня не захотел отпускать сестру одну, а вскоре к ним присоединилась заболевшая туберкулёзом Мария. Белла осталась с отцом в Бахмуте и через три года вышла замуж за русского. Она очень гордилась тем, что в неё влюбился дворянин. Саша, воспитанный и спокойный человек, служил делопроизводителем. Оставшись в одиночестве, Константин перебрался в Мариуполь. Из семьи в Бахмуте теперь жила только Белла, но и она уже была не Ицкович, а Васильева.

Прослужив после третьего курса несколько месяцев лекпомом в Красной гвардии, Дина закончила мединститут в 1924 году. Она спасла Марию – настояла на

пневмотораксе, а потом старательно выхаживала сестру, даже возила её в Крым – на виноград. Мария выздоровела.

Едва ли всё обошлось бы так благополучно, если бы не Даня.

Лечение Марии требовало расходов, и Даня, учившийся на бухгалтерских курсах и работавший в какой-то конторе, подрабатывал мытьём окон в разных учреждениях. Он был застенчив, рано полностью облысел и страдал сильной близорукостью. Сестры всегда пугались, видя, как полуслепой брат взбирается по шаткой лесенке к окнам вторых этажей.

Закончив курсы, он нашёл хорошую работу, его ценили: подобно отцу, он был трудолюбив, аккуратен и безупречно честен.

Все три сестры вышли замуж почти одновременно. Приехавший учиться в Харьковский мединститут из Мариуполя Яша Левицкий был однокурсником Дины и влюбился в неё на всю жизнь ещё до первой экзаменационной сессии. Новая семья образовалась в 1923 году. Мария, выздоровев, расцвела. Яша познакомил её со своим другом Абра-

мом Давыдовым, и довольно скоро этот молодой и способный инженер-электрик, ставший любимцем всей компании, сделал предложение симпатичной девушке.

Молодым семьям удалось найти жильё в доме номер четыре на Вознесенской улице. Левицкие занимали в этом особнячке просторную комнату с двумя окнами, а Давыдовы соседнюю, чуть меньше. Жили в квартире ещё две семьи, жили дружно. Все были молоды, учились, работали и были веселы. Тогда-то Даня и поселился на своём чердаке.

Осенью 1926 года Дина родила мальчика. Дане в это время было двадцать семь лет. Ни сам он, ни близкие не сомневались, что он останется старым холостяком. Даня очень привязался к племяннику, но им пришлось расстаться, едва ребенку исполнилось полтора года. Яша должен был отслужить год в армии – по специальности, но на солдатском положении. Это называлось "врач-одногодичник". Его отправили в какой-то гарнизон, и Дина поехала врачом в село Карловку. Там она могла прожить с сыном на

свою зарплату и даже умудрялась регулярно переводить немного денег Яше, как она говорила – "на табак".

Разлука с племянником лишь укрепила любовь к нему Дани. В Харьков возвратился забавный малыш, достаточно большой, чтобы возиться с ним было интересно. Когда Даня после работы зашёл к Левицким, мальчик сначала вежливо поздоровался, а потом, серьёзно посмотрев на лысого человека в очках, вдруг закричал басом:

– Дежурный! Дай воды и керосина!

– Не пугайся, – сказала Дина, обнимая брата, – наша хата в Карловке была рядом с сельской тюрьмой, и арестованные весь день требовали воды и керосина, которым морили клопов.

Даня рассмеялся и ответил племяннику:

– Воду тебе даст Дина, а вместо керосина возьми это, – и он протянул мальчику небольшую шоколадку.

– Спасибо, – сказал ребенок. – А как вас зовут?

– Пожалуйста, говори мне ты, – ответил лысый, – а зовут меня Даня, забыл?

– Забыл, – сказал мальчик серьёзно. – Я всё забыл. Я же был маленький, когда уехал.

– Ты очень вырос, – улыбнулся Даня, – а теперь иди ко мне, я тебя поцелую.

Даня и мальчик очень любили друг друга. Когда малышу исполнилось три года, случилось происшествие, важное для обоих. С этого времени мальчик и начал помнить себя сам, а всё, что было раньше, знал только по рассказам. В день рождения Дина накрыла стол большой белой скатертью, на которую поставила самую лучшую посуду. Красивее всего была любимая чашка Дины – большая, замечательно расписанная, она расширялась книзу и устойчиво стояла на великолепном блюде. Когда-то Фаня выбрала её в подарок дочери по своему вкусу.

Давыдовы и Даня уже пришли, вручили мальчику подарки и весело разговаривали, пока Дина и Маруся ставили на стол всё приготовленное. Рассмотрев книжки, цветные карандаши и большой резиновый

мяч, мальчик захотел увидеть, что стоит на столе, но как ни тянулся, голова его всё равно была ниже, чем нужно. Не раздумывая, он схватил свисавший край скатерти и потянул её на себя. Чашка и блюдце Дины мелькнули мимо его носа и разбились вдребезги. Дина очень огорчилась. Мальчик посмотрел на неё и расплакался. Все бросились утешать маму и сына. Осколки убрали, на стол поставили обычную чашку, и вечер прошёл хорошо, только Даня о чём-то задумался и был более молчалив, чем обычно.

Следующим вечером снова собрались у Левицких. Уже садились за стол, когда в дверях появился Даня. Он сиял и бережно нёс в руках небольшой свёрток, перевязанный жёлтой шёлковой ленточкой.

– Почему так поздно, Данечка? – спросила Дина.

– Посмотрите на него! – воскликнул Абрам. – Даня, уж не получил ли ты отдельную квартиру в центре города?

Даня осторожно положил свёрток на стол, улыбнулся и сказал:

– Диночка, я принес тебе новую чашку.

Когда Дина развернула свёрток, все ахнули. По форме чашка почти не отличалась от разбитой, но была красивее. Расписанная видами Московского Кремля, она плотно стояла на большом блюде, а слово "Москва", выписанное как бы в медальоне славянской вязью, удачно завершало её цветовую гамму. На глазах у Дины выступили слёзы.

– Ты что, музей ограбил? – полюбопытствовал Абрам.

– Где ты раздобыл такое чудо? – спросил Яша.

– Господи, сколько же это стоит? – удивилась Мария.

– Даня, – дрогнувшим голосом нерешительно выговорила Дина, вытирая глаза, – неужели ты был в Торгсине?

Никто уже не помнил, что у Дани была настоящая ценность. Когда ему исполнилось тринадцать лет, Константин очень хотел сделать единственному сыну хороший подарок на бар-мицву. Шефтер, поздравляя

Константина, заплатил ему больше денег, чем обычно, и Даня получил красивые золотые часы – большие, с крышкой, карманные часы фирмы Павла Буре, лежавшие в специальной коробочке, обитой изнутри тёмным бархатом. Даня никогда их не носил, стеснялся. Часы пережили Первую мировую войну, погромы, революцию, гражданскую войну и уцелели в самое трудное время. Все знали, что Даня боялся любых дел с золотом и никогда близко не подходил к Торгсинам, в которых иностранцы за валюту, а граждане страны за купоны, полученные в обмен на золото, могли купить то, чего в других магазинах никогда не бывало. Он пошёл туда за этой чашкой. Дина умерла в 1980 году, пережив Яшу на два года, а чашка и сейчас стоит в буфете у Иры, сестры мальчика, в квартире родителей.

Мальчик рос, его прогулки с Даней становились всё разнообразней. Однажды, когда гуляли на площади Тевелева, он увидел большой открытый автомобиль, в котором рядом с шофёром сидел какой-то старик во френче, застёгнутом на все пуговицы.

Стоявший на середине площади милиционер в белой гимнастёрке вытянулся и откозырял.

– Почему милиционер отдал честь этому старику? – спросил мальчик.

– Это не старик, – ответил Даня серьёзно, – это Григорий Иванович Петровский.

Когда мальчику исполнилось шесть лет, Даня повёл его на стадион и объяснил правила футбола. Мальчик навсегда запомнил, как юркий и знаменитый Пека Дементьев выкатил мяч под правую ногу ещё более знаменитого Бутусова. Тот с места ударил, и мяч, как ядро, влетел в ворота харьковской команды. Мальчик рано научился читать и на прогулках рассказывал Дане о прочитанном.

В 1931 году у Марии и Абрама родилась дочь Фая. Даня любил племянницу. Вову, сына Беллы и Саши, харьковчане видели только раз – когда Васильевы приехали из Бахмута в гости.

В 1934 году столицу перенесли из Харькова в Киев, и Яшу, недавно получившего ромб, назначили начальником главной физиологической лаборатории Киевского

военного округа. Левицкие переехали в Киев. Харьковских родственников мальчик не забывал, а семью Беллы почти не помнил. В 1937 году Сашу арестовали. Мальчик знал, что Дина начала ежемесячно переводить сестре деньги, но всё это было как-то далеко. Ему только было странно, что взрослая Белла поступила на фельдшерские курсы и Дина посылала ей учебники.

Летом 1939 года Даня приехал в Киев в гости. Мальчику только что купили дорогие оранжевые ботинки из тонкой кожи. Они были мягкие, нарядные и очень понравились. Увидев постаревшего Даню в старом полотняном костюме и неуклюжих сандалиях, мальчик впервые ощутил острую жалость к взрослому и любимому человеку. Как только они остались вдвоём, он принёс ботинки и показал Дане. Даня внимательно осмотрел их, погладил мягкую кожу и сказал:

- Прелесть, носи на здоровье.
- Даня, возьми их себе. Они тебе понравились, а я в них играть в футбол не могу. И размер у нас одинаковый. Пожалуйста.

Даня внимательно посмотрел на племянника, улыбнулся и обнял его.

– Спасибо, малыш, но не нужно. Только не обижайся. Куда мне такие ботинки? Я привык к сандалиям, а зимой хожу в чёрных туфлях и галошах. Ты же знаешь. Я очень рад, что у тебя такая прекрасная обувь. Спасибо. Как же ты вырос!

Подросток хотел, очень хотел, чтобы Даня принял подарок, но каким-то уголком сознания он радовался и тому, что ботинки остались у него, и стыдился этой радости.

В конце мая 1941 года от Дани пришло неожиданное, как говорил Яша, внеочередное, и удивительное письмо. Даня писал, что собирается жениться и даже купил новую мебель, а свадьба планируется на середину июля.

– Наконец-то нашлась энергичная женщина, – радостно сказал Яша.

– Нужно немедленно перевести ему деньги телеграфом, – предложила Дина.

– Сегодня же! – с воодушевлением поддержал Яша.

– Мы поедем на свадьбу? – спросил мальчик.

– Я думаю, дня на три сможем выбраться, – весело ответил Яша и посмотрел на Дину. Она засмеялась и кивнула.

Дина с мальчиком и семилетней Ирочкой уехали поздно вечером тринадцатого июля. Эшелон, которым семьи военнослужащих эвакуировались в Свердловск, шёл почему-то через Харьков. В хвосте состава было пять пустых, но запертых вагонов. Люди плакали, несчастные растрёпанные женщины с детьми умоляли впустить их в пустые вагоны, но состав считался военным, посторонних не брали. В Харьков прибыли днём. Поезд загнали на какой-то далёкий путь и объявили пассажирам, что до вечера они могут, если хотят, ехать в город.

Выезжая из Киева, Левицкие уже знали, что Белла, работавшая в детском саду, эвакуируется с ним в Алма-Ату, а Мария с Фаей уже уехали в Новосибирск. Абрам, которому поручили обеспечить работу электростанции и одновременно под-

готовить её к взрыву, домой уже не приходил. Поехали к Дане.

На чердаке стояла новая мебель – клеённый диван с высокой спинкой, в которую было вделано овальное зеркало, стол с четырьмя стульями и еле помещавшийся двустворчатый шкаф. Даня осунулся, лицо его было необычно грустным, но твёрдым. Обнялись, расцеловались, уселись за стол. Только Ирочка с любопытством обследовала чердак.

– А где Шура? – сразу спросила Дина. Шурой звали решительную женщину.

– Уехала неделю назад, заходила попрощаться.

– Почему она не осталась с тобой?

– Боялась задерживаться.

– А ты почему с ней не уехал?

– Диночка, ты же знаешь, я работаю в финансовом отделе НКВД, – ответил Даня. – Я вольнонаёмный, но это – военное учреждение. Меня не уволили, но на работу ходить сейчас не нужно. За мной обещали заехать. Начальник обещал. Я жду. Последние три дня даже не выхожу.

– А кто тебя кормит?

– Ты помнишь дворничиху Устю? – спросил Даня. – Она и мебель помогала расставить. Очень ей диван понравился. А тебе нравится?

– Ну и чем же она тебя кормит? – спросила не забывшая Устю Дина.

– Я даю ей деньги, и она утром приносит хлеб, молоко, ещё что-нибудь. Ведь это ненадолго.

– Данечка, – сказала Дина тихо, – поедем с нами, вместе будем. А если не заедут? Здесь нет Герасименок, за иконой не отсидишься. В учреждениях жгут бумаги, весь Киев засыпан сажей. И у вас тоже. Мы видели по дороге. Поедем, Данечка, ну как мы тебя оставим?

– Не могу, Диночка. Я обещал ждать. Заедут. Я столько лет там работаю. Что подумают, если я уеду?

Лицо его стало неожиданно жёстким. Дина знала брата.

– Сразу сообщи, где ты, на Главпочтамт, до востребования. Мы при-

везли тебе немного еды и денег, – сказала она, – а мебель ты купил удачную.

Потом Даня рассказал, как уезжали Мария с Фaeй, как опустел двор.

– И Бассы уехали? – спросила Дина.

– Уехали, и Толя Щёголь тоже.

– Данечка, поедem с нами, – сказала Дина умоляюще.

– Диночка, не надо больше говорить об этом, – попросил Даня. Он проводил их до ворот.

– Даня, я буду ходить на почту каждый день, пожалуйста, напиши сразу, – сказал мальчик.

– Ты стал совсем взрослым, – ответил Даня, целуя племянника. – Напишу, не волнуйтесь.

За ним не заехали. Устя явилась, как только вывесили приказ о сборе всех евреев на тракторном заводе. Она плотно уселась на диван, потрогала клеенчатую обивку и сказала:

– Собирайтесь, Даниил Константинович. Вам сегодня нужно с вещами на

тракторный. Я вам помогу с чемоданом, у меня внизу тачка.

Даня быстро собрался. Когда миновали Дворянскую, увидели евреев, идущих туда же. Даня остановился.

– Спасибо, Устя, – сказал он и взял чемодан. – Дальше я пойду сам. Прощайте.

– До свиданьяца, Даниил Константинович, – пела Устя, улыбаясь. – Возвращайтесь скорей, будем ждать вас.

Даня повернулся и пошёл не оглядываясь.

ЭКЗАМЕН

– Я слушаю, – сказал Лев Александрович, подняв трубку.

– Добрый вечер, Лёва, – произнес легко узнаваемый, чуть картавивший голос. – Не помешал?

– Не помешал, не помешал, – насмешливо ответил Лёва. – За кого просишь?

– А как ты догадался?

– Дедуктивный метод, Юра, – веселился Левицкий. – В последний раз мы с тобой общались полгода назад в филармонии, завтра начинаются вступительные экзамены в аспирантуру, а профессор Шкловский звонит накануне вечером. Такую задачу даже я в уме решаю. Выкладывай.

– Ну, ты же знаешь, что я не люблю блата. Особый случай.

– Да?

– Понимаешь, мы не знаем толком, какие на вашей кафедре требования. К нам в аспирантуру поступает очень талантливый парень Давид Заславский!

– Давид Заславский? Он что, украинец? Или вы спятили?

– В заочную аспирантуру! Он защитил диплом, который выше уровня хорошей кандидатской. Мы-то считаем, что он английский знает хорошо. У нас только что прошла международная конференция, он синхронно переводил с английского на русский и с русского на английский, и все были довольны.

– Что?! Ты говоришь, он синхронил?

– Ещё как!

– Успокой его. По просьбам институтов, членов президиума и других персон оценки, конечно, завышаются, но занизить оценку просили на моей памяти только раз, и Наина Александровна эту подлую просьбу отвергла с негодованием. Правда, у неё прочное положение, не каждый решился бы. Если твой подопечный может синхронить с русского, ему на нашей кафедре делать нечего. Завтра комиссия рекомендует его на досрочную, через две недели, сдачу кандидатского экзамена. Приятно осчастливить Институт математики.

– Замечательно! Понимаешь, его только подстраховать нужно. А вдруг кто-нибудь вмешается?

– Юра, если он синхронит, я в случае чего не подпишу протокол.

– Спасибо, Лёва. Талантлив он. Надо бы увидеться.

– Увидимся, скоро Рихтер приезжает.

– Ну, будь здоров и ещё раз спасибо. Ире кланяйся. Сейчас позвоню Заславскому.

– Кланяйся своим.

Через час в трубке раздался незнакомый и нерешительный голос:

– Добрый вечер, Лев Александрович. Вас беспокоит Додик, извините, Давид Заславский. Простите, пожалуйста, но мне очень нужно поговорить с вами. Не могли бы вы уделить мне десять-пятнадцать минут?

– Откуда вы звоните? – сухо спросил доцент Левицкий.

– Я сейчас на Бассейной, – ответила трубка.

– Это рядом. Я живу на бульваре Леси Украинки, дом пятнадцать, квартира тридцать девять.

– Спасибо, Лев Александрович, большое спасибо.

Звонок в дверь раздался через десять минут.

– Добрый вечер, Лев Александрович, – заговорил по-английски полный юноша с характерной "математической" головой, сужающейся кверху. – Простите, пожалуйста, что отнимаю у вас время. Профессор Шкловский со мной говорил, но я очень волнуюсь. И родители тоже. Не сердитесь, пожалуйста. Я просто должен был поговорить с вами.

Перед Левицким стоял отчаянно волновавшийся молодой человек. Дома его ждали родители. Они, конечно, этой ночью спать не будут. Давид продолжал легко говорить по-английски, его искренность была очевидна, и Левицкий на русском языке пригласил его войти, представил жене и усадил.

– То, что вам сказал профессор Шкловский, вполне соответствует действи-

тельности, – подтвердил он, – меньше "пятёрки" вы у нас не получите. Не волнуйтесь и успокойте родителей. Вы бы лучше о кафедре философии подумали.

– Их я не боюсь, – неожиданно ответил Заславский. – К этому предмету я всегда относился серьёзно.

"Какая наивность", – подумал Левицкий, а вслух сказал:

– Постарайтесь экзаменоваться у профессора Ивана Петровича Головатенко, их заведующего. Экзамен у них длится долго, работают обычно две комиссии, а Головатенко порядочный человек, умный и честный, с чувством юмора, не трус.

– Спасибо, Лев Александрович, постараюсь. Очень вам признателен, что поговорили со мной.

– Не за что. После экзамена по марксизму не откажите в любезности рассказать мне, как он проходил.

Письменный экзамен Левицкий всегда проводил сам. Сдающие начинали переводить в девять утра, и он неизменно давал им на пять минут больше – на "раскачку".

Члены комиссии приходили к десяти. Когда Левицкий шёл на кафедру по улице Чкалова, было только восемь, но в скверике уже сидели Давид Заславский и его отец.

С переводом Давид справился за двадцать минут, но сдать его сразу не захотел: сидел, проверял каждое слово, перечитывал десять раз и, закончив работу первым, сдал её последним.

– Хоть в печать, – сказал Левицкий, проверив перевод, и отправил Заславского к следующему экзаменатору.

Когда экзамен закончился, Левицкий объявил оценки, поздравил сдавших и пожелал им успеха. Заславского рекомендовали на досрочную сдачу кандидатского экзамена. Он ещё раз поблагодарил и торопливо ушел.

"Папа до сих пор сидит в скверике", – подумал Левицкий.

Рассказать об экзамене по философии Давид пришёл через три дня.

– Сначала всё шло спокойно, Лев Александрович, – говорил он. – Я легко попал к Ивану Петровичу, вызвавшись отвечать

без обдумывания. Он слушал доброжелательно, и я уже заканчивал ответ на второй вопрос, когда в аудиторию буквально ворвался какой-то человек и громко закричал: "Заславский уже сдал?" Иван Петрович указал на меня кивком и сказал вполголоса: "Отвечает". "А как он отвечает?" – снова закричал вошедший. "Превосходно", – ответил Иван Петрович. "Я хочу послушать ответ сначала", – заявил крикун. Я начал сначала. Кадровик несколько минут слушал, а потом перебил меня и засыпал дополнительными вопросами. Иван Петрович опустил голову и не вмешивался. Я отвечал на вопросы минут сорок. Потом кадровик спросил о содержании главы из одного труда Ленина, и я воспользовался случаем, сказал, что не знаю. "Ага, не знаете!" – завопил кадровик торжествуя. «Не знаю, – подтвердил я, – и буду вам очень признателен, если вы мне расскажете. Дело в том, что эта глава была утрачена в рукописи и никогда не публиковалась". Кадровик опешил, а Иван Петрович поднял побагровевшее лицо, сказал, глядя ему в глаза: "Довольно!" – и хлопнул по столу ладо-

нюю. Потом поблагодарил меня за ответ и поставил "отлично".

– Поздравляю вас, Давид, – сказал Левицкий. – Что же, теперь будете защищать ваш диплом на степень кандидата?

– Зачем, Лев Александрович? – удивлённо воскликнул Заславский. – Я сделаю новую серьёзную работу.

Давид Заславский защитил диссертацию два года спустя. Профессора И.П. Головатенко освободили от заведования кафедрой и перевели в сотрудники Института философии много раньше.

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ЭПИЗОД

*Всякое сходство персонажей рассказа
с реальными лицами совершенно случайно.*

В Академии наук тесно. Кафедра иностранных языков всегда нуждалась в аудиториях, и большие институты охотно предоставляли ей вечером какое-нибудь подходящее помещение. Однажды, после первого занятия в Институте сварки, доцент Левицкий выходил с аспирантами из корпуса. Они указывали дорогу в коридорной путанице и повели его через огромный зал, сплошь заставленный аппаратурой и множеством газовых баллонов. Неожиданно Левицкий остановился и сказал: – Шипит.

– Что шипит, Лев Александрович? – спросил молодой человек, имени которого Левицкий ещё не запомнил.

– Не знаю, – ответил Левицкий, – но что-то шипит. В здании уже никого нет, наверное. Это не опасно?

– Ах, это, – аспирант махнул рукой в сторону высоких баллонов. – Не беспокойтесь, Лев Александрович. Здесь, бывает, и двадцатирублевые баллоны шипят,

а это кислород, пустяки, четыре рубля баллон. Ничего, к утру весь вышипит.

В другом институте Отделения технических наук Левицкий увидел кульманы, стоявшие в опасной близости один к другому на тесной и плохо освещённой лестничной площадке, и пожалел конструкторов. Тесно было даже в Президиуме, и прекрасный старый особняк на Владимирской испортили нелепой надстройкой, чтобы разместить расплодившихся чиновников.

Кафедре иностранных языков приходилось хуже, чем институтам, хотя она обслуживала всю Академию, но в конце концов заведующая Наина Александровна выпросила левую половину коридора на первом этаже случайно сохранившегося бывшего корпуса Михайловского монастыря. У кафедры появилась необходимая канцелярия, в которой царила высокая, стройная, круглолицая, привлекательная, умная и разведённая Наталья Владимировна, а попросту – Наташа.

Преподаватели радовались постоянному пристанищу и не жаловались, когда

в гололедицу приходилось с трудом карабкаться до самого верха Владимирской горки, а после занятий скользить вниз, с риском сломать руку или ногу. Аудиторий же всё равно было мало.

Наина Александровна сразу поняла, что кабинета у неё и здесь не будет. Она отнеслась к этому юмористически и весьма гордилась добытым коридором. К сожалению, годы проходили быстро. Однажды постаревшая Наина Александровна заболела, и вскоре стало ясно, что её эпоха закончилась.

Исполняющим обязанности назначили доцента Григория Степановича Дулиенко, заведовавшего секцией немецкого языка. Левицкий грипповал, и о назначении Дулиенко ему сообщили по телефону. Отболев пять дней, он утром пришёл на кафедру, вошёл в канцелярию и весело поздоровался с Натальей Владимировной и машинисткой Валентиной Алексеевной.

– Выздоровели, Лев Александрович? Здравствуйте, очень рады вас видеть, – сказала Наталья Владимировна.

– Здравствуйте, Лев Александрович, – откликнулась и Валентина Алексеевна. – А ваши аспиранты уже волновались.

Ответить Левицкий не успел: чудовищные, хрипящие и скрипящие, но не вполне членораздельные звуки заполнили канцелярию и резко оборвались.

– Господи, что это? – спросил Левицкий.

– Матюгальник, – улыбнулась Наталья Владимировна. – Пока вы болели, Григорий Степанович занял соседнюю с нами аудиторию под кабинет и установил этот аппарат. К нам шеф теперь не заходит. Он, вероятно, увидел вас в окно и вот вызывает к себе.

– Спасибо, Наталья Владимировна. Пойду к начальству, но освободившись, зайду к вам снова непременно.

– Заходите, Лев Александрович, мы вам рады.

Левицкий постучал в соседнюю дверь, получил разрешение войти и, затворив за собой дверь, сказал: – Здравствуйте, Григорий Степанович, с новосельем. Вызывали?

– Здравствуйте, Лев Александрович, спасибо. Присаживайтесь, – и Дулиенко величественно указал на стул по другую сторону большого стола. – Мне необходимо поговорить с вами.

– Слушаю, Григорий Степанович.

– Лев Александрович, Президиум впервые, – Дулиенко со значением посмотрел на Левицкого, – понимаете, впервые выделил кафедре деньги на премии за научную работу. У вас есть что-нибудь?

– Боюсь, на премию мне сейчас претендовать нельзя. Работаю над новой книгой, но конца ещё не видно.

– Как же так, Лев Александрович? Я, например, премию получаю.

– Когда будет новая работа, с удовольствием представлю, спасибо, а сейчас ничего нет.

– Ведь вы наш ведущий научный работник. Неудобно как-то. Может, найдёте что-нибудь? Я же получаю.

– В другой раз, Григорий Степанович. Спасибо за внимание.

– Ну, как знаете. Поделили бы с вами.

В коридоре Левицкого перехватила профорг кафедры Мария Алексеевна: – Я очень рада, что вы на работе. Выздоровели?

– Что-нибудь случилось, Мария Алексеевна?

– Вы о премиях за научную работу уже слышали?

– Да, только что Дулиенко вызвал и предложил.

– А вы что?

– Отказался.

– Почему, Лев Александрович?

– Нет у меня пока ничего законченного. Работаю.

– Понимаете, Лев Александрович, неудобно получается. Премия в первый раз. Григория Степановича только что назначили, и он сразу её себе забирает. Я пошла к нему и говорю, что неудобно. Дали бы, говорю, Ковалёвой. У неё учебник вышел, а себе бы уже в следующий раз взяли. А он мне: – Я себе и в следующий раз возьму. И не стыдно ему.

А матюгальник этот? И аудиторию сразу под кабинет занял.

– Ничего, Мария Алексеевна, угомонится, я думаю. Всего пять дней меня не было, и такие новости. Не огорчайтесь. Всего вам доброго.

Левицкий зашел в большую аудиторию, где любили собираться свободные преподаватели, и тотчас увидел, что предстоит новый разговор. Прервав на полуслове беседу с Елизаветой Петровной Селезневой и Ларисой Валентиновной Алёшкиной, к нему решительно направилась Ирина Никитична Биленко. Появилась она на кафедре сравнительно недавно, сразу была избрана партгоргом, английский знала слабо, но с аспирантским курсом справлялась, была спокойным человеком, и Левицкий согласно кивал головой, когда Наталья Евгеньевна Бунеева говорила ему: – Язык она знает слабо, но старательная, а кроме того, свойственна ей какая-то примитивная справедливость.

– С выздоровлением, Лев Александрович. Можно вас в сторонку на минуту?

– С удовольствием, Ирина Никитична, надеюсь, ничего плохого не случилось?

– Нет, Лев Александрович, всё хорошо, но есть деликатный вопросик.

– Я весь внимание, – сказал Левицкий по-английски. Он как-то заметил, что Биленко знает это выражение.

Она улыбнулась: – Понимаете, Лев Александрович, нам выделили к празднику одну грамоту Президиума.

– Замечательно, Ирина Никитична.

– Конечно. Так вот, по всем показателям грамоту должны получить вы, но Георгию Давидовичу исполняется восемьдесят, и я боюсь, что он огорчится, если грамоту Президиума дадут не ему. Я решила обратиться к вам по-дружески.

– Вы совершенно правы, Ирина Никитична. Нельзя огорчать Георгия Давидовича. Он прекрасный человек и преподаватель, а я вообще совершенно равнодушен к грамотам и тому подобному.

Лицо Биленко окаменело: – У вас, Лев Александрович, – сказала она резко, –

абсолютно неправильное отношение к советским наградам.

— Что вы, Ирина Никитична, — сказал Левицкий. — Уверяю вас, это не так. Между прочим, один знаменитый русский классик, только что переизданный в Москве массовым тиражом, как-то весьма точно подметил: "Человек умирает, а орден остаются на поверхности земли".

— Классик, вы говорите? Кто же это?

— Козьма Прутков, Ирина Никитична.

— Не читала.

— Очень рекомендую, Ирина Никитична. В магазине вряд ли найдёте. Расхватали. Но в любой приличной библиотеке, конечно, есть, в Библиотеке имени КПСС, наверное, экземпляров десять, не меньше.

— Спасибо, поинтересуюсь. Так о грамоте договорились?

— Твёрдо, Ирина Никитична. Я всей душой за Георгия Давидовича.

Когда почти умиротворённая Биленко и Левицкий подошли к Елизавете Петровне и Ларисе Валентиновне, те об-

суждали вечную проблему произношения. Сетка часов не позволяла заниматься с аспирантами фонетикой, и произношение изучавших английский и французский языки, как правило, было скверным, да и "немцы" частенько произносили неважно.

— Когда мои аспиранты спрашивают об этом, — включился Левицкий, — я им говорю: — Так вы не будете работать шпионами.

— Разведчиками, Лев Александрович, — сурово поправила Алёшкина, и лицо её стало таким же каменным, как за несколько минут до того лицо Биленко.

— Разведчиками, если вам угодно, Лариса Валентиновна. Надеюсь, я вас не обидел? Аспиранты прекрасно понимают, когда я шучу.

— Шутки шуткам рознь, — не сдавалась Алёшкина.

— Запомню, Лариса Валентиновна. А теперь позвольте откланяться. Позвоню своим, что завтра будем заниматься.

— Пять дней пролежал, — думал Левицкий по дороге домой, — температурил, простыню засморкал, задыхался, и ни-

чего, а на родной кафедре – как дерьма наелся. Ну, Никитична малограмотна и умом не блещет, но Алёшкина совсем не дура. Что это у неё – рефлекс?

Лариса Валентиновна была новичком на кафедре, куда её устроил помощник президента АН и, по совместительству, полковник КГБ Белодед, когда её за склоки "ушли" из Высшей школы МВД. Английским она владела свободно: до школы МВД три года что-то делала в Англии. На кафедре сразу заняла особое положение. Специально "под неё" Президиум разрешил открыть несколько разговорных групп, и некоторые его сотрудники пошли к ней учиться. Из преподавателей кафедры в секцию Алёшкиной охотно перешла Бунеева. Левицкий знал Наталью Бунееву со студенческих лет и мог объяснить её внезапную дружбу с Алёшкиной только тем, что Наталье приелась рутинная работа с аспирантами.

– Обойдётся, – думал Левицкий, подходя к дому, – нужно в присутствии этой дряни быть осторожнее. Соскучился по занятиям. После перерыва аспиранты

всегда – как новорождённые. А хорошие ребята. Ну, завтра увидимся.

В семь вечера зазвонил телефон.

– Я слушаю, – сказал Левицкий, взяв трубку.

– Добрый вечер, Лев Александрович. Алёшкина, – послышался знакомый нагловатый голос. – У меня к вам вопрос. Не согласитесь ли вы работать со мной, в разговорных группах? Мне нужен помощник, на которого я могла бы положиться.

– Спасибо, Лариса Валентиновна. Я не могу в середине года бросить своих аспирантов. У вас ведь есть Наталья Бунеева, прекрасный преподаватель, порядочный человек и язык хорошо знает. Зачем я вам понадобился?

– Да на что мне нужна ваша Наталья, Лев Александрович? Вниз по Героев Революции меня сводить, когда скользко? Что вы в ней нашли хорошего?

– Лариса Валентиновна, Бунеевой я ничего не скажу, я не переносчик, а работать предпочитаю в обычных группах. Спасибо.

– Жаль, Лев Александрович, а я надеялась. Ну, что-нибудь другое придумаем.

– Не сомневаюсь, Лариса Валентиновна, – ответил Левицкий, – до свидания.

– До свидания, Лев Александрович. Подумайте всё-таки.

– Хорошо, что трое вице-президентов мои ученики, – обратился Левицкий к жене. Чтобы не огорчать её, он не рассказал дома об утренних неприятностях, но ему всегда казалось, что она в курсе всех его дел, и это было ему очень приятно.

22 декабря 2010 г.

ИЗ ПИСЬМА ДРУГУ

*Светлой памяти
Эды Моисеевны Береговской
посвящаю*

... начинаю свой рассказ о своем отце, человеке замечательном во многих отношениях. Рассказать так, как он того заслуживает, я не смогу: не только умения мало, но и знаю недостаточно. Последнее – потому, что все подробности о его родителях от меня скрывали, оберегая меня от всего, что могло быть для меня опасным, начиная с 7 октября 1926 г. В этот день я родился в 10 часов вечера. Мой дед, отец моего отца, умер до моего рождения. Знаю, что его звали Вениамин, по отчеству отца только – Вениаминович. Никогда не видел даже фотографии деда. Жила семья отца в Мариуполе (позже – Жданов, как сейчас – не знаю). Думаю, что семья была зажиточной: довоенная наша мебель была дорогой и хорошей: замечательный большой стол на толстых ножках с мед-

ными кругами внизу – по одному широкому кругу на «ножке» - ножище, прекрасное немецкое пианино, на котором отец очень хорошо играл, когда у него было время, всю жизнь. Я не видел даже фотографии деда, не знаю, чем он занимался, не знаю, когда он умер. Но знаю, что прекрасный мамин трельяж красного дерева тоже был из Мариуполя. Бабушку я знал: она нас навещала, а со времени начала войны жила с нами и умерла в больнице на Печерске.

Чтобы покончить с этим: моя вторая бабушка (мать моей мамы) умерла до моего появления на свет, была, по словам мамы, от «природы» интеллигентным и умным человеком. Родители (мои, оба) очень хорошо о ней отзывались, но я даже имени её не знаю. Отец мамы был приказчиком в какой-то лавке в Бахмуте (позже – Артёмовск, сейчас – не знаю). По решению семьи отец мамы Константин объединился с матерью отца, они жили в Мариуполе, были с нами в эвакуации, а после войны дед умер на моих руках от старости и болезни в квартире родителей возле метро «Арсенальная».

Яков Вениаминович Лидский (26.10.1901 – 24 апреля 1978) с детства любил и хотел учиться играть на рояле, играл очень хорошо. И ему прочили блестящую карьеру солиста, но случилась революция, и папу убедили, что в трудное время это не профессия – стоит повредить палец, и остаешься без специальности. Так отец, любя музыку и играя каждую свободную минуту, сначала закончил гимназию с серебряной медалью (медаль ему так и не выдали, потому что – еврей, а справку о ней мама хранила), а потом поступил на медицинский факультет Харьковского университета, где и познакомился с мамой. Она была на три года старше моего отца.



Вот её даты:

11.09.1898

—

8.12.1980.

Мама отличалась острым, «мужским» умом, обладала прекрасными способностями, прекрасно училась. Будучи на 3-м курсе, воевала в качестве лекпома в красной гвардии. В университете студенты мужского пола ценили её общество, остроумие, грамотность и нравственные качества. Студенческий круг родителей включал многих будущих крупных деятелей медицины. Родители полюбили друг друга, стали мужем и женой, не оформив брака, что тогда было можно (я – незаконнорождённый!). Брак родители оформили (по суду, на заседании которого профессор Бабич лжесвидетельствовал «в их пользу», когда речь зашла об оформлении пенсии (!)), так что я стал «наконец-то» законнорождённым. Отец любил футбол, играл в какой-то полупрофессиональной команде, но однажды его привели с матча домой под руки, почти принесли. Тогда мама сказала: «Или футбол, или я». Так я не видел отца на

футбольном поле. Мама так же своевременно заметила, что отец равнодушен к вину. По этому поводу исторических фраз не было, но вино просто исчезло из обихода семьи: когда приходили гости, меня заранее посылали в магазин – купить 1 (одну) бутылку «вина» (какого – не уточнялось) и 1 (одну) бутылку водки. Твой покорный слуга попробовал водку, сколько помню, в возрасте 21-го года. Сейчас стараюсь наверстать, но силы уже не те. Родители трогательно любили друг друга и обожали нас с Ирой (моей сестрой) всю жизнь. Между прочим: когда мне было, кажется, три года, у папы случилось прободение язвы. Ночью его забрали в военный госпиталь (в Харькове, где мы жили). Операцию назначили на 2 часа ночи (срочную). Мама позвонила по телефону прекрасному хирургу профессору Шамову, у которого в университете слушала курс хирургии. Разбудив его своим звонком, она напомнила ему, что была его студенткой, и попросила сразу же приехать оперировать её мужа. Шамов немедленно приехал, прекрасно провёл операцию (вероятно, спас папе жизнь, ибо в госпитале хи-

руг был дрянной). Мама его сердечно поблагодарила, а о том, чтобы взять гонорар у «коллеги», тогда и думать было не принято. Кстати: в нашем огромном доме (мы жили в 237 квартире) мама до конца жизни лечила всех детей во всех подъездах не просто бесплатно, но ей нельзя было вручить ни коробки конфет, ни букета цветов. Моя сестра всю жизнь вела себя так же. Это я к тому, что моральная планка в семье была очень высокой, и во всех сопоставимых случаях ситуация всегда оставалась неизменной. Папа и сам был таким же, что и определяло «диаметр» круга его подопечных. Его все любили, все уважали, и цветы незнакомых людей, которые мы три года находили вс який раз, когда навещали его могилу, нас не удивляли. Ты уже знаешь, что объём его благотворительной деятельности, уровень его доброты и других нравственных качеств – всё это стало нам, членом семьи, вполне ясно лишь после смерти папы, когда мы разобрали его бумаги. Он писал письма, обращался в любые инстанции, хлопотал о жилье, просил за и т.д., и т.п. Он знал многих важных людей во мно-

гих важных местах. Он подрабатывал, рецензируя статьи и отвечая на письма для медицинского журнала, чтобы иметь возможность помочь людям материально и – отец был филателистом – тратить какие-то деньги на марки. А из его зарплаты мама (она зарабатывала значительно меньше) ежемесячно переводила приличную сумму своей сестре Белле, мужа которой посадили за то, что он был дворянского происхождения, уж и не помню, в каком году. Я часто ходил с мамой на почту, когда она отправляла ежемесячный перевод. Жили мы скромно, и бывший ученик отца югослав Никица Будимлия (в училище, где во время войны училась рота из Югославии, отец был зам. начальника по учебной части, о чём ты читала в книге Тани; естественно, отец очень опекал зарубежных друзей, а с Никицей и нас познакомил, но это отдельная история). Приехавши как-то – после войны – чтобы повидаться с нами, с бывшими учителями, а также, чтобы положить цветы на могилу отца, он, войдя в мою (нашу с Ирой) квартиру, сказал удивлённо: – Юра, папа же был полковник?, после чего

полез в карман за бумажником. Но это уже – моя история. Здесь уместно сказать о карьере отца. Когда родители закончили университет, мне был год. Один год. Отца сразу забрали в армию и куда-то (не помню, ай-ай-ай) отправили отслуживать т.н. врачом-одногодичником. Такое было правило: человек был рядовым красноармейцем и был обязан отработать год врачом в армии, получал солдатскую зарплату, тогда составлявшую 6 (шесть) рублей в месяц. Мама, взяв годовалого меня, отправилась зарабатывать деньги, ибо нужно было жить, а мама ещё и хотела посылать что-то отцу «на табак» (папа курил). Село – под Харьковом – было весьма глухим. За врачом приезжали на телеге из окрестных сёл, как правило, по ночам, и мама скоро поняла, что пока она доберётся куда-то, где нет электричества и рукомойника, больной уже умрёт. Я оставался один. Словом, это был 1927 год. Так или иначе, деньги «на табак» отцу уходили ежемесячно, а я, ибо первыми моими словами были «спасибо», «пожалуйста» и т.п., поражал всю Карловку (так, сколько помню, звалось село)

своей вежливостью и научился говорить свою первую фразу: «Дежурный! Дай воды и керосину!». Наше хатка стояла рядом с деревянной тюрьмой, и заключённые всё время орали именно эту фразу. Вода им была нужна для питья, а керосин — для борьбы с клопами, которыми деревянная тюрьма кишела. Когда мы возвратились в город, моя первая фраза многих удивила. В армии отец начал серьёзно заниматься физиологией. После года армии, в которой физиологов тогда было очень мало, он быстро рос в чинах, стал кандидатом наук *honoris causa* (по публикациям), и в 1934 году (одновременно с переносом столицы Украины из Харькова в Киев) отца перевели в Киев и назначили начальником главной физиологической лаборатории Киевского военного округа. Вскоре он стал бригаврачом, т.е. получил генеральский чин. В петлице у него появился ромб, чем я немало гордился. Увы, успешные занятия физиологией длились недолго. Правда, отец работал день и ночь: лаборатория была оснащена (главная!) новейшей немецкой аппаратурой, отец выписывал из Германии все специаль-

ные журналы и новые книги. Он стал известным физиологом, был делегатом Международного (Павлов там «признал» сов. власть, получив Колтуши с памятником собаке) конгресса физиологов. А в следующем году был – от армии – делегатом Всесоюзного конгресса физиологов. И вот тут его отстранили от физиологии, назначив зам. начальника всего госпиталя. Затем Ворошилов издал приказ назначать чин по выслуге. Годы службы отца пересчитали, и пришлось ему носить вместо ромба две шпалы. Потом на евреев ополчились всерьёз, и отец согласился на предложение выслужившегося из фельдшеров и не имеющего о науке представления Павла Ильича Гаврося стать его замом по учебной части в формируемом им училище военфельдшеров. Павел Ильич был умным и благородным человеком, он глубоко уважал отца и даже боялся обращаться к нему с таким предложением (он признался в этом моей маме). Она, опасаясь, что отец будет очень волноваться, вдруг оказавшись между небом и землёй, ободрила Павла Ильича. Отец согласился, и началась его работа в КВМУ

(Киевское военно-медицинское училище), где – уже в Свердловске – с папой и познакомилась Таня Репина¹.

Училище – после смерти П.И. Гаврося – носит его имя. Это вполне справедливо, но Таня не случайно посвятила книгу папе. Представь себе девочек, оказавшихся в сугубо мужском (если не считать преподавателей) коллективе, да ещё и в армии. Трудности были бесконечные, их было множество. В определённых случаях отец заменял этим девочкам (как и роте югославов) отца. Их трудности были его трудностями. Таким человеком был мой папа. У всего девичьего батальона сразу возникла проблема. Таня об этой проблеме не писала. Я уже и не говорю об отсутствии ваты: война. Но где сушить выстиранные под умывальником трусы? Места не было. Женщины не были предусмотрены. Мужчины спали на двухэтажных деревянных нарах и – при учебной тревоге – пры-

¹ Т.А. Репина – автор вышедшей в 2009 г. в Москве книги «Девичий батальон», где она очень тепло вспоминает о Я.В. Лидском.

гали, торопясь в строй, с верхних нар на головы тем, кто вскакивал с нижних. Давалось на то, чтобы в форме стать в строй, 2 (две) минуты. Теснота была неимоверная. Случались обморожения: -40°C , ночной поход на 25 км, некоторые не успевали намотать портянки. Из похода с отмороженными ногами шли прямо в санчасть. Девочкам устроили спальню в один этаж, на кроватях. Ежедневно, постирав трусики, они развешивали их на спинки кровати. Утром приходил комроты и, увидя висящие с штатской наглостью трусики, раздавал юным патриоткам наряды вне очереди. Так получалось, что девочки шли к папе. Он понимал, он не раздавал наряды, он любил их и жалел их и их родителей. Я помню, что тогда отец потерял покой. Ведь места не было, а отменить военный порядок он не мог. Комроты, раздававший наряды вне очереди, был по-своему прав. Честно признаюсь: я уже не помню, что именно придумал отец, но через день нашлось место для сушки трусиков. Что-то куда-то переместили, что-то где-то освободили, что-то убрали на склад, нашли верёвки. Отец подумал и о том, чтобы

девочкам не пришлось далеко ходить и уходить от спальни, чтобы повесить трусики сушиться. Девочки это оценили. Они видели радость отца, когда проблема была решена, они видели, что он их любит.

И мы, родные дети, постоянно всегда видели то же самое. В семье не было принято пороть детей, ставить в угол, оставлять без сладкого. Маме случалось нас шлёпать по попке. Папа ни разу в жизни нас не шлёпнул. Единственный случай (не шлепка, естественной реакции) был такой: когда – после операции по поводу прободения язвы желудка (удалили часть желудка и часть кишки, а оставшееся сшили) отца привезли домой, он лёг на диван (тахту), а мне было три года, если я правильно помню. Глуп я был не по возрасту, очень соскучился по отцу, влез на тахту и с размаху уселся (шлёпнулся!) прямо на свежий шов – Ах, ты, осёл! – воскликнул папа и толкнул меня с себя. А я, уже стоя на полу, орал, оскорблённый до глубины души: – Я не осёл! Я – человек! С тех пор я всё пытаюсь доказать себе, что орал правду.

Почему-то (это всё очень трудно выразить ясно, так, чтобы увидеть и ощутить) среди многих друзей и знакомых отца было немало столь же добрых, внимательных, любящих людей. Мы, дети, так скоро к этому привыкли, что без колебаний обращались к этим людям за помощью, уверенные, что не откажут, поймут, сделают всё, что могут. Миша родился в 1961 году. Я был уже взрослым и «самостоятельным» человеком, когда Ира принялась умирать в роддоме (Октябрьская больница), истекая кровью. Мне в больнице сказали (упоминавшийся уже профессор Бабич успел созвать ещё двоих профессоров и пятерых доцентов), что необходимо добыть кровоостанавливающее средство, которое есть только у Амосова. Оно не поступало в аптеки; из Чехословакии его отправляли только Амосову и в ещё одну клинику – в Питере. Бабич написал на кусочке бумаги название и цифру – 9 граммов. «Без этого не возвращайся. Найди Амосова. Сию минуту!»

А как найти? Что делать? Я выскочил из отделения с бумажкой Бабича и

схватил первое попавшееся такси. Их возле больницы всегда хватало. Я уже знал, что нужно ехать к профессору Борису Григорьевичу Левину, главному рентгенологу 4-го гл. управления Минздрава Украины. Уже через 5 минут я кричал не своим голосом в телефонную трубку (правительственную!): – Да вы понимаете, что моя жена умирает?! Где я буду искать вашего Трещинского ?

Амосов в ответ очень вежливо и спокойно объяснял мне, что, кроме его главного анестезиолога проф. Трещинского, никто это лекарство дать не сможет. Всё это было утром. В три часа утра следующего дня Трещинский, выйдя из палаты, где лежала Ира, сказал: – Теперь должна жить. А днём моему папе позвонил Амосов и попросил прощения за то, что не сделал большего. О моём неприличном тоне он не заикнулся.

Я не ошибся, бросившись к Борису Григорьевичу Левину. Он был старый друг моего папы и успел уже стать и моим другом. Я не могу (физически не могу) описать каждый день своей жизни. Это значило бы прожить ещё 84,5 года. Добавлю лишь од-

но. Любовь и внимание к детям в семье было таким, что мне не по силам это выразить. Нас учили много и хорошо, нас хорошо и любовно воспитывали. Мою сестру это закалило лучше, чем меня. Я же долго не мог жить вне семьи. Даже из пионерлагеря сбежал бы, если бы родители, приехавшие в воскресенье навестить меня, не согласились забрать меня с собой в первую же неделю. Возможно, будь мои родители чуть-чуть другими, у меня было бы больше силы воли. Но будь они чуть-чуть другими, я бы не мог их любить так, как буду любить до последней своей минуты. В моих рассказах «Прививка» и «Дядя Даня» всё описано почти совершенно точно.

Содержание

РАЗ-ДВА	4
ПРИВИВКА	10
ОБЫСК	20
ДЯДЯ ДАНЯ	30
ЭКЗАМЕН	49
БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ЭПИЗОД	57
ИЗ ПИСЬМА ДРУГУ	70

Юрий Лидский

Рассказы

Подписано к печати 29.12.2010. Формат 60 x 84 ¹/₃₂.
Бумага офсетная. Печать лазерная. Усл. печ. л. 2,75.
Тираж 100 экз. Заказ № ____.

Отпечатано в типографии ООО «Принт-Экспресс»
Лицензия ПЛД № 71-38 от 07.09.99.
г. Смоленск, пр. Гагарина, 21, оф 33.
Тел.: (4812) 32-80-70.